

## РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ

---

LES POLITIQUES DE MAURICE BLANCHOT. 1930–1993 / MICHEL SURYA, COLLECTIF // LIGNES. № 43. MARS 2014. 235 P.

NANCY J.-L. LA COMMUNAUTÉ DESAVOUÉE. PARIS: GALILÉE, 2014. 176 P.

SURYA M. L'AUTRE BLANCHOT. L'ÉCRITURE DE JOUR, L'ÉCRITURE DE NUIT. PARIS: GALLIMARD, 2015 (COLL. «TEL»). 168 P.

MONVAILLER H. DE., ROUSSEAU N. BLANCHOT L'OBSCUR OU LA DÉRAISON LITTÉRAIRE / PRÉFACE DE M. ONFRAY. PARIS: AUTREMENT, 2015 (COLL. «UNIVERSITÉ POPULAIRES & CIE»). 252 P.

### МОРИС БЛАНШО И ХРОНИЧЕСКИЙ АНТИСЕМИТИЗМ ФРАНЦУЗСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ\*

*К «делу» Мориса Бланшо*

2014–2015 гг. были отмечены во Франции рядом громких публикаций, ознаменовавших то, что по аналогии с «делом Хайдеггера» можно было бы назвать «делом Бланшо». При этом, если интеллектуальное осуждение немецкого мыслителя начиналось некогда с изобличения его причастности движению немецкого национал-социализма, которое только в последние годы было дополнено «антисемитским досье», основанным, главным образом, на так называемых «Черных тетрадах» [Травну, 2014], то атака на одного из самых авторитетных французских мыслителей XX в. была направлена скорее именно на то, что можно было бы определить как «подспудный», или хронический, антисемитизм французской словесности, выразителем которого довелось быть Бланшо в 30-е гг. минувшего столетия. О застарелом и по-прежнему актуальном

---

\* Работа выполнена в рамках проекта «Генеалогия, топология и ключевые фигуры литературного национализма во Франции XX-го века: Шарль Моррас, Морис Баррес, Шарль Пегу, Поль Валери, Пьер Дриё Ла Рошель, Жан Полан, Луи-Фердинанд Селин, Морис Бланшо», поддержанного РФНФ, №15-04-00478.

характере этой социально-идеологической перверсии наглядно свидетельствует один казус, с которого А. Бадью начинает свой памфлет «Направленности слова “еврей”»: в своей работе философ приводит скандальную фразу премьер-министра Франции Раймона Барра, которую тот выпалил в своем заявлении по поводу теракта в парижской синагоге на улице Коперника 3 октября 1980 г., в результате которого четыре человека погибли и двадцать были ранены. Ничтоже сумняшеся, министр изрек: «...этот ужасный теракт, направленный против евреев, собравшихся в синагоге, затронул также безвинных французов, проходивших по улице Коперника». В своем комментарии к этому речевому конфузу А. Бадью ставил, в общем, верный диагноз — речь идет о хроническом социально-идеологическом заболевании:

Тогда сказали, что он (министр. — С. Ф.) оговорился. Возможно, это и к лучшему: столь примечательная манера анализировать происходящее обнаруживала достаточно естественное существование расистского подсознания, унаследованного из тридцатых годов [Бадью 2008, 8].

В сущности, о таком же «антисемитском» подсознании идет речь в новейших публикациях по «делу Бланшо», появление которых обуславливает необходимость возвращения к более ранним исследованиям, в которых затрагивалась обозначенная тема.

Действительно, еще в конце 60-х гг. вышла монография историка идей Ж.-Л. Лубе дел Бэйля о «нон-конформистах 30-х годов» [Loubet del Bayle 1969] — добротное историческое исследование, в котором представлена широкая панорама развития правого радикализма 30-х гг., где, однако, присутствовал ряд мелких неточностей, в частности, в характеристике роли Бланшо в отдельных экстремистских изданиях крайне правого толка. Чуть позднее, а именно в середине 80-х гг., в интеллектуальных кругах Франции широко обсуждалась монография американского литературоведа Д. Мельмана, посвященная «анти-семитскому наследию» французской литературы и философии [Mehlman 1984], где антисемитизм французских писателей рассматривался не как исключение (случай Селина), а в виде регулярной и потаенной компоненты ряда писательских позиций (Бланшо и Лакан, Жид и Жироду и т. п.); дополнительный интерес этого неровного исследования, местами выливающегося в политический анти-французский памфлет, заключался в том, что еще до выхода книги автор представил часть, посвященную Бланшо 30-х гг., на суд самому писателю, который

отреагировал письмом, частично процитированном американским ученым в примечаниях. Во второй половине 90-х гг. в Сорбонне молодой литературовед Ф. Менар защитил докторскую диссертацию, всецело посвященную анализу политической позиции писателя [Mesnard 1996], — детальное университетское исследование, в котором публицистика 30-х гг. была представлена как своего рода тайный ключ к позднему герметизму Бланшо, к мифу аисторического, аполитичного, незримого поводыря французской словесности.

Среди сравнительно недавних работ, посвященных политической эволюции Бланшо, выделяется небольшая книга патриарха французской философии Ж.-Л. Нанси «Морис Бланшо. Страсть политическая», где политическая ангажированность писателя была проанализирована в понятиях христианских «страстей» [Nancy 2011]. В сущности, работа Нанси является одной из самых важных публикаций по теме, где впервые был представлен ценный и очень спорный литературный документ — письмо самого Бланшо, адресованное Д. Москоло (1916–1997), французскому писателю и мыслителю левого толка, автору книги «Коммунизм, революция и коммуникация: диалектика ценностей и потребностей» (1953): в этом личном письме к близкому другу Бланшо впервые попытался обстоятельно объяснить в отношении своей политической позиции 30-х гг.

Летом 2014 г. вышел в свет специальный выпуск журнала «Линии», одного из самых влиятельных интеллектуально-философских изданий современной Франции, где был опубликован ряд историко-литературных и философских исследований, посвященных преимущественно публицистике молодого Бланшо 30-х гг. [Les Politiques de Maurice Blanchot 2014]: впервые с резкой критикой Бланшо открыто выступил журнал, который все годы своего существования (основан в 1985 г.) оставался едва не самым близким писателю изданием. Наконец, в начале 2015 г. главный редактор «Линий» писатель и мыслитель М. Сюриа выпустил в свет небольшую книгу «Другой Бланшо: Письмо дня, письмо ночи» [Surya 2015] — острое, пронзительное исследование авторитетного знаменитого творчества Ж. Батая и его друга М. Бланшо, а также политики французской литературы 30–60-х гг., в котором идея «безумия дня», т. е. политического журнализма Бланшо 30–40-х годов, поверялась ходом его позднейшей политической эволюции, в частности, в отношении таких геополитических наименований, как Франция, Анти-Франция, Испания, Германия, Израиль, Чужестранность. Настоящий обзор был бы неполным, если не упомянуть еще одну работу Ж.-Л. Нанси — «Дезавуированное сообщество», вышедшую в свет в 2014 г.

и посвященную центральной для мысли Бланшо теме сообщества [Nancy 2014]. Собственно говоря, небольшая книга авторитетнейшего французского философа включает в себе анализ одной из самых «темных» книг Бланшо, название которой по-русски можно было бы перевести «Непризнаваемое сообщество» [Бланшо 1998], поскольку речь идет о такой общности (взглядов, деяний, идей, личностей), в которой невозможно признаться, в том числе, самому себе, ибо в ней присутствует и что-то исключительно сокровенное, и что-то необыкновенно постыдное: как крайне правым признать свою общность с крайне левыми? Где найти место для такого признания, которое рискует обернуться признанием другого через отрицание себя? В общем, речь о сообществе тех, кто, в сущности, лишен всякого сообщества.

В нижеследующих размышлениях мы попытаемся рассмотреть, исходя из исследований, представленных выше, а также некоторых других работ, тему, заявленную в заглавии нашей работы.

### *Между фашизмом и коммунизмом*

Название этого этюда, который представляет собой один из первых подступов к большому проекту, связанному с изучением феномена литературного национализма во французской словесности XX столетия, может показаться провокационным, и даже может быть прочитано с каких-то точек зрения как культурный оксюморон, где сходятся резкие, непримиримые противоположности.

Но перед нами имя Мориса Бланшо (1907–2003) — белёсой<sup>1</sup> иконы французской словесности минувшего столетия, почти безликого автора ряда метафизически-теологических романов и цикла металингвистических повестей<sup>2</sup>, многих сборников литературно-критических эссе<sup>3</sup> и книг фрагментарной философской прозы, оказавших неимоверное влияние на всю плеяду мыслителей

<sup>1</sup> В имени собственном «Blanchot» француз может прочитать прилагательное «беленький» или собственно «белёсый».

<sup>2</sup> Полный свод малой прозы Бланшо существует на русском языке благодаря стараниям В. Е. Лапицкого. См.: Бланшо 2003.

<sup>3</sup> В русских переводах, правда, оставляющих желать большей верности оригиналу, появились всего лишь две из десятка главных книг Бланшо-критика и теоретика литературы. См.: Бланшо 1998; Бланшо 2002а.

Франции второй половины XX столетия, которых с разной мерой справедливости связывают с постструктурализмом: Ж. Батая и Р. Барта, Ж. Деррида и Ж. Лакана, Ж. Делёза и Ф. Гваттари, М. Фуко и Ж.-Ф. Лиотара, Ф. Лаку-Лабарта и Ж.-Л. Нанси. Добавим, что широкое воздействие идей Бланшо на само институциональное пространство, практику и приемы французской мысли второй половины XX в. рассмотрено в специальном номере старейшего философского журнала Франции «Revue de métaphysique et de morale», также вышедшем в свет в 2015 г. [Blanchot: écriture et philosophie 2015].

При этом во Франции сложился не менее внушительный круг писателей и поэтов, так или иначе признававших авторитет всевластного мэтра литературного опыта или просто разделявших с ним предельные требования к литературе: упомянем здесь Р. Антельма и М. Дюрас, Р. Шара и Ж. Полана, М. Бюотра и А. Роб-Грийе, Б. Пэнго и Ж. Буске, Б. Ноэля и Р. Лапорта, А. Мишо и Ж. Грака, Л.-Р. Дефоре и Р. Мийе. Наконец, если судить по количеству ученых трудов о Бланшо, вышедших в последние годы, нарастающему потоку международных коллоквиумов, посвященных в университетах разных стран изучению различных аспектов его творчества, возникновению двух враждующих между собой научных обществ, объединяющих и разъединяющих знатоков и университетских ученых, занимающихся исследованиями его громадного и разнородного наследия, являющегося плодом почти семидесятилетнего пребывания писателя в самой гуще французской литературной жизни, то следует признать, что фигура Бланшо бесспорно вошла в культурный пантеон современной Франции, несколько потеснив таких столпов французской интеллектуальной культуры XX в., как А. Камю, А. Мальро или Ж.-П. Сартр<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Лишним и весьма своеобразным свидетельством невероятного авторитета, которым обладает фигура Бланшо в культурном мире современной Франции, можно считать памфлет «Бланшо-темный», в котором два молодых дипломированных специалиста, преподающих философию в выпускных классах, предприняли исключительно наивную попытку развенчать культ Бланшо, якобы навязываемый самой университетской институцией: Monvailler, Rousseau 2015. Поверхностное знакомство с текстами писателями, которые по большей части цитируются из вторых рук, вызывающее невнимание к корпусу критической литературы, состоящему отнюдь не только из агиографических опусов, как хочется думать авторам, афишируемое пренебрежение ко всей традиции «трудного письма» (от Сада до Батая, Барта, Лакана, Фуко), заведомо превращают скороспелый труд новоявленных Бувара и Пекюше в набор «шикарных идей», которыми можно блистать разве что в узких кругах и кружках парижской околонуниверситетской публики.

Соединение имени Бланшо с понятием хронического антисемитизма может показаться тем более странным, если вспомнить, что с давних студенческих лет, проведенных в Страсбургском университете в совместных философских студиях, писатель был связан узами истинной дружбы с Э. Левинасом (1905–1995), ставшим со временем одним из самых авторитетных мыслителей новейшего иудаизма<sup>5</sup>. Не говоря уже о том, что в черные годы Оккупации Бланшо самолично оказал посильную помощь близким Левинаса, фактически спас его супругу и дочь от отправки в лагерь смерти, писатель творчески разделял с философом глубокую озабоченность «еврейским уделом», усугубленную в середине 40-х гг. созданием израильского государства<sup>6</sup>. Вместе с тем, начиная с рубежа 50–60-х гг., Бланшо активно искал и обретал духовное сообщество с теми французскими мыслителями и поэтами, в творчестве которых еврейская традиция играла существенную роль — прежде других здесь можно назвать тех Ж. Деррида и Э. Левинаса, но также, например, выдающегося французско-поэта еврейской традиции Э. Жабеса, который одно время находился в активном творческом диалоге с Бланшо.

В этой связи можно вспомнить также, что в одном из своих критических эссе начала 60-х гг., затрагивавшем известную и спорную работу Ж.-П. Сартра «Размышления о еврейском вопросе» (1946), Бланшо вменял в вину крупнейшему французскому мыслителю своего рода феноменологическое легкомыслие, в силу которого фигура еврея сводилась в рассуждениях философа к производной от «взгляда другого», а сама еврейская идентичность оказывалась своего рода «негативом антисемитизма» [Blanchot 1969, 182].

Исходя из этих предварительных замечаний, которые нетрудно было бы дополнить или развернуть, следует полагать, что с определенного момента мысль и письмо Бланшо оказались настроены на своего рода юдофилию, или филосемитизм, который выражался как в личных привязанностях, особенно тесных в дружбе с Ж. Деррида, ставшем душеприказчиком писателя после

<sup>5</sup> Отклики мыслителя на творчество ближайшего друга собраны в небольшой книге, состав которой на русском языке несколько отличается от первоисточника и дает более полное представление о той сосредоточенности, с которой Левинас читал Бланшо. См.: Левинас 2009.

<sup>6</sup> О чем наглядно свидетельствует пространное письмо Левинаса, отправленное в 1946 г. Бланшо в ответ на некие размышления последнего об этом историческом событии: Levinas 2015. Ср. также: Cohen-Levinas 2009.

смерти последнего, так и в собственно критическо-философских построениях, неизменно направленных на прояснение существа литературы, где фигура еврея, совпадая во многом с архетипом самого писательского удела, соотносилась с мотивами определенного рода беспочвенности, бесприютности, бездомности, каковые раз и навсегда запечатлелись в истории Авраама.

Действительно, согласно Бланшо, Авраам, родоначальник евреев, становится первым номадом иудео-христианской культуры, когда решает покинуть родные края, выбрав для себя стихию блуждания, изгнания, скитальчества, что само по себе не исключает отчего дома, пристанища, убежища или даже государства, однако означает установление нового отношения с «истиной», где первостепенное значение приобретает не только начало начал, не только основоположение, не только скрижали законов, но и «переход» или даже «перевод», в смысле культурного подвижничества. Фигура Авраама важна для Бланшо, прежде всего, как фигура проводника, о чем говорится в одном из самых существенных пассажей эссе «Быть евреем», где критик пересказывает центральные положения книги французского мыслителя Андре Наэра «Еврейское существование»:

В одной из своих книг Андре Наэр напоминает нам этапы еврейского присутствия (присутствия некоего не-присутствия): разумеется, еврей, прежде всего, имеет право на это имя Еврея (я не знаю более достойного имени, которого можно было бы требовать), но не следует забывать, что перед тем, как стать евреем, он был сыном Израиля, а до того — иудеем (который сейчас становится израильянином), и что, следовательно, быть евреем значит нести на себе груз и полноту всех этих имен. Еврейский человек является иудеем, когда он человек начала начал; начало — это решение; это решение было решением Авраама, отделяющего себя от того, что есть, и утверждающего себя чужестранцем, чтобы ответственность чужестранной истине. Иудей переходит из одного мира — учрежденного шумерского мира — к «еще пока не миру», который, тем не менее, мир дольний. Будучи проводником, иудей Авраам приглашает нас не только переходить с одного берега на другой, но и переноситься повсюду, где необходимо совершить переход, удерживая это междуречье, или между-двух-бережье, каковое и есть истина перехода [Blanchot 1969, 184].

Несмотря на то, что еще до выхода в свет эссе «Быть евреем» мысль Бланшо затрагивала отдельные тексты и фигуры еврейской культурной традиции,

именно с начала 60-х гг. писатель предается глубокому и целеустремленному вопрошанию философии иудаизма, сосредотачиваясь в ней на таких темах, как рождение языка и значение книги, жертвоприношение и толкование закона, изгнание и ожидание, скитание и откровение. При этом, как свидетельствуют архивы писателя, круг авторов, которых он выбирает себе в собеседники по еврейскому вопросу, остается достаточно узким и в общем постоянным: М. Бубер и В. Беньямин, С. Вейль и Г. Шолем, А. Наэр и Р. Мисраи, Э. Жабес и Э. Левинас<sup>7</sup>. С течением времени, точнее, по мере того, как во французской политической жизни, с одной стороны, существенно возрастали значение и смысл геноцида евреев, сложившиеся в формулу немислимой Катастрофы, тогда как с другой — заметно усложнялись отношения левых интеллектуалов с государством Израиль, юдофилия Бланшо становилась все более напряженной, приобретая черты своеобразного внутреннего инакомыслия, выраженного однажды в характерной максиме: «Что бы ни случилось, я с Израилем» [см.: Gary 2009].

Как это ни парадоксально, но напряженная юдофилия Бланшо заметно усугублялась одновременно с радикализацией крайне левых взглядов писателя, чей голос, начиная с рубежа 50–60-х гг., все чаще и все громче звучал по самым разнообразным вопросам актуальной политической жизни Франции — от войны в Алжире и революции 1968 г. до легализации однополых браков в 90-х гг.<sup>8</sup>. Вместе с тем, можно отметить, что под конец интеллектуального маршрута в голосе Бланшо-публициста временами стали звучать нотки политической нетерпимости, навеянные, по всей видимости, неким пророческим мессианством, которым, начиная с книги «Письмо кромешной тьмы» (1980), все большее и больше проникалась мысль писателя, тогда как в текущей литературной жизни сама его фигура приобретала вид доподлинной иконы. Так, 2 сентября 1996 г. восьмидесятидевятилетний мэтр направил открытое письмо Брюно Руа, директору престижного и элитарного издательства «Фата Морган», в котором оповещал последнего, что разрывает с ним все отношения

<sup>7</sup> Архивы писателя, содержащие черновики и разнообразные подготовительные материалы для текстов еврейской тематики, обстоятельно представлены в докторской диссертации Э. Хоплено, посвященной рассмотрению связей творчества Бланшо с культурой иудаизма [Norrenot 2015].

<sup>8</sup> Вся послевоенная политическая публицистика Бланшо собрана в двух изданиях, в общем повторяющих друг друга, но отличающихся позициями авторов-составителей и научным аппаратом. См.: Blanchot 2003; Blanchot 2008.



по причине того, что в издательстве была опубликована книга «Внутренняя империя» (1995), принадлежавшая острому перу известного мыслителя крайне правого толка Алена де Бенуа (род. 1943). Строго говоря, в этом письме Бланшо прямо обвинил Бенуа в антисемитизме, а директора издательства «Фата Моргана» — в пособничестве антисемитизму, что было не совсем справедливо как в отношении первого, так и в отношении второго. Процитируем несколько строк из этого письма:

Сам факт, что Бенуа сотрудничал с антисемитскими журналами, естественно закамуфлированными, поскольку они запрещаются законом, когда являются слишком открытыми, делает его пособником. Он — антисемит, в силу места, где он писал и издавал. Наконец, он создал «Группу по изучению и исследованию европейской цивилизации», председателем которой был Ле Пен.

Я публиковал книги в «Фата Моргана», когда этот издательский дом был пристойным. Публикация бессвязной книги Бенуа заставляет меня уйти из него, по меньшей мере, на тот срок, пока вы не исключите данную книгу из своего каталога и не изымите ее из продажи [Blanchot 2010, 479].

Это письмо, очевидно принимавшее форму ультиматума, было опубликовано в популярном литературно-критическом обозрении «Кензен литтерэр», спровоцировав один из самых громких литературных скандалов конца 1996 г. При этом главный редактор ««Кензен литтерэр», авторитетный литератор Морис Надо уточнял в редакционном примечании, что Ле Пен никогда не председательствовал в упомянутом научно-политическом объединении. В том же номере литературной газеты был опубликован ответ главы издательства «Фата Моргана», а в следующем — ответ самого Алена де Бенуа; в обоих авторы сделали упор на политическом прошлом Бланшо, которое было далеко не безупречным, во всяком случае, также было отмечено сотрудничеством в 30-е гг. с рядом изданий крайне правого толка, не отличавшихся, как водится, филосемитизмом. Словом, если Бланшо утверждал, что Бенуа был антисемитом только в силу места, где он писал и издавал свои работы, то это обвинение парадоксальным образом обращалось против самого обвинителя, в очередной раз предав огласке сомнительные и спорные страницы тревожной литературной юности писателя в 30-е гг.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> На русском языке эти страницы частично представлены в переводе большого отрывка из фундаментальной биографии Бланшо [Бидан 2000], опубликованной в 1998 г.

Не имея возможности остановиться здесь на всех перипетиях то живо разгорающегося, то почти затухающего, так или иначе текущего, словом, хронического процесса против Бланшо 30-х гг., который, начиная с середины 70-х гг., ведется в интеллектуальной периодике и научной литературе Франции, Европы и США, заметим, что именно нарастающий радикализм крайне левой политической позиции, неразрывно связанный с углублением упоминавшейся выше юдофилии, накладывающиеся на упорное нежелание писателя внятно объяснить по поводу своей политической позиции в 30-е гг., как будто провоцируют время от времени полемические контратаки, исходящие в последние годы даже из самого ближнего окружения писателя (Ж.-Л. Нанси, М. Сюриа и коллектив журнала «Линии»).

Суть проблемы в 1984 г. очень резко сформулировал французский философ и филолог-германист Ф. Лаку-Лабарт (1940–2007), который, как известно, был одним из самых вдумчивых и требовательных читателей и критиков Бланшо [см.: Lacoue-Labarthe 2011]. Речь идет об одном письме Лаку-Лабарта, адресованном Д. Москоло, в котором философ давал свою оценку смысла и направленности политической эволюции Бланшо: само письмо остается неопубликованным, но отклик на него Москоло приводится в книге Ж.-Л. Нанси<sup>10</sup>. Согласно представлениям философа, главный мотив политической эволюции писателя заключался в крутом умственном перевороте, случившемся в годы Оккупации, своего рода «обращении», или «перерождении всех убеждений», когда писатель не без неверных шагов, не без насилия над собственной мыслью, как со стороны самого себя, так и со стороны самого события войны, проделал путь от некоего французского «фашизма» к некоему беспочвенному «коммунизму». При этом Лаку-Лабарт подчеркивал, что такой крутой маршрут был «примерным», в смысле показательным, характерным как для всей эпохи, так и для поколения Бланшо.

Разумеется, что Лаку-Лабарт, перекладывая на эпоху ответственность за ранние политические убеждения писателя, ничего не говорил в письме

---

молодым университетским исследователем К. Биданом [Bident 1998]. Книга Бидана до сих пор считается непревзойденным биографическим источником, хотя в новейших исследованиях все чаще обнаруживаются огрехи этого только с виду бесстрастного жизнеописания, местами склоняющегося к умышленному или непредумышленному абстрагированию от целого ряда литературных документов и мемуарных свидетельств.

<sup>10</sup> См. письмо от 27 июля 1984 г., в котором Д. Москоло, отталкиваясь от позиции Лаку-Лабарта, представляет свое видение основной направленности интеллектуального маршрута Бланшо [Nancy 2011, 65].

1984 г. о персональном антисемитизме Бланшо. Тем не менее, если судить по той микро-археологии темного прошлого одного из величайших писателей Франции минувшего столетия, что развернулась в последние годы на страницах авторитетных интеллектуальных изданий, Бланшо действительно довелось в литературной молодости переболеть теми хроническими болезнями исторической эпохи, одни названия которых сейчас способны повергнуть в страх и трепет.

Если исходить из тех историко-аналитических реконструкций, которые содержатся в представленных выше работах, то в самом схематичном виде предварительный диагноз, суммарно характеризующий политическую позицию Бланшо в 30-е гг., мог бы быть представлен в следующих положениях: во-первых, речь идет о воинственном литературном национализме, подразумевающим, прежде всего, революционный поворот к дореволюционной, аристократической, монархической, католической или даже почвеннической Франции, и предполагающем посему тотальное отрицание Франции современной — демократической, республиканской, космополитической, отданной на откуп международному — читай еврейскому — капиталу; во-вторых, как бы ни варьировались отдельные положения литературного национализма у различных французских писателей того времени — от Шарля Моррасса или Шарля Пеге до Поля Валери или Пьера Дриё Ла Рошеля, — одним из заглавных пунктов этой программы оставался вопрос о существующей политической власти, который решался писателями-националистами преимущественно в пользу диктатуры — в противовес современному парламентаризму, которому вменялось в вину ослабление Франции, стремительно терявшей политический вес перед лицом усиления новых политических режимов, основанных на фигуре вождя — фашизм в Италии, национал-социализм в Германии, фалангизм в Испании, большевизм в России; в-третьих, не что иное, как острое внимание к усилению диктатур в других европейских странах, отличавшее программу литературного национализма, направляло творческое сознание писателей-националистов к проблематизации не только фигур вождя, диктатора, правителя, но и фигур другого, чужестранца, чужеземца, одной из вариаций которой в ранней публицистике Бланшо становится фигура еврея.

Разумеется, что каждое из приведенных понятий, через которые здесь схематично представлена политическая платформа молодого Бланшо, требует специального лексикографического разъяснения с учетом как особенностей

политического словаря 30-х гг., так и употребления этих или сходных терминов в текстах писателя. Тем не менее, следует полагать, что речь идет об идеологической программе, в общем отвечающей логике некоего французского «фашистского мифа», которую, заметим это сразу, следует отличать, с одной стороны, от логики «нацистского мифа» [ср.: Лаку-Лабарт, Нанси 2002], и с другой — от логик иных национальных вариантов фашизма того времени. Сейчас просто заметим, что в самом общем виде эта логика соответствует логике «консервативной революции», однако, в отличие от немецкого поворота исторического события, обусловленного в основном опытом культурной идентификации с доклассической Грецией [см.: Фокин 2002], молодые французские национал-революционеры искали политический идеал в дореволюционной Франции, воспринимая 1789 г. как своего рода искупительное жертвоприношение, предвещавшее грядущее обновление французской нации, которому, как пророчествовал некогда Жозеф де Местр, будет способствовать не прямая контрреволюция, а противоположность революции, точнее, противоположная революция, устремленная вспять, к восстановлению традиционных социально-политических и религиозных учреждений Франции. Вот почему одним из ключевых понятий ранней публицистики Бланшо становится слово-призыв «революция»; вот почему почти с самых первых своих политических выступлений он берет на вооружение исключительно экстремистский метод рассуждения, которому находит соответствие в словаре Французской революции — «террор»; вот почему, наконец, интеллектуальный терроризм ранней публицистики Бланшо можно рассматривать как предельно приземленное предуготовление к той высокой миссии от теории литературы, первой ласточкой которой явилась работа «Как возможна литература?» (1941) [Бланшо 2002б], посвященная разбору книги Ж. Полана «Тарбские цветы, или о Терроре в изящной словесности» (1941) [Полан 2002].

Итак, нам действительно важно, не впадая в полемические крайности, понять значение и смысл идеологической эволюции Бланшо, каковые, даже если не принимать радикальной оценки Лаку-Лабарта, все равно восходят, с нашей точки зрения, к некоему мифу, точнее, к некоему типу политического сообщества, в котором задействованы механизмы некоего фашизма, которые мы наеемся подробно разобрать в последующих исследованиях.

Возвращаясь к той мысли, что фигура еврея предстает в мысли Бланшо 30-х гг. главной вариацией фигуры другого, чужого, чужестранного, предполага-

ющей не просто определенное отношение, но достаточно твердую позицию, можно предположить, что замечательной иллюстрацией к этому положению является яркий политический портрет Л. Блюма (1872–1950), который был набросан молодым писателем в 1937 г. в ряде статей на страницах еженедельника «*L'Insurgé*» («Повстанец»). Но сначала несколько слов о самой газете, в которой запечатлелись несколько характерных антисемитских выпадов молодого Бланшо. Издание выходило в свет с 13 января по 26 октября 1937 г. на восьми страницах большого формата; основной состав команды журналистов составили участники неформальной литературно-политической группировки «Младоправые» (Ж.-П. Максанс, Т. Молнье, М. Бланшо), в общем державшейся в русле классического французского национализма в духе «Аксьон Франсез», хотя склонявшейся и призывавшей к более радикальным методам политической борьбы, представление о которых легко составить по названию одной из статей Бланшо, опубликованной несколько ранее в газете «*Combat*» («Схватка») — «Терроризм как метод общественного спасения»<sup>11</sup>.

«Повстанец» был голосом молодых французских нон-конформистов, всеми силами пытавших изменить политический курс или даже строй современной Франции, безропотно принимавшей логику политического момента, в общем, совпадавшую с логикой войны за передел Европы. Интеллектуальная линия издания определялась крайне причудливым триумvirатом, две заглавные фигуры которого были представлены в первом номере газеты в разделе «Портреты “Повстанца”»: речь идет, с одной стороны, о писателе-коммунаре Ж. Валлесе (1832–1885), главный роман которого «Повстанец», прославлявший дух революционного бунтарства, предоставил имя еженедельнику, с другой — о «папе» французского антисемитизма Э. Дрюмоне (1844–1917), авторе прогремевшей в свое время книги «Еврейская Франция» (1886), ставшей одним из знамений или даже «библией» всего правого движения во Франции и по всей Европе<sup>12</sup>. Почетное третье место среди отцов-вдохновителей новоявленных инсургентов от национальной революции незримо занимал прямой наставник «младоправых» — основоположник французского национализма

<sup>11</sup> О сотрудничестве Бланшо в «Комба» см.: Mehlman 1982. Ср. также упоминавшуюся монографию того же автора: Mehlman 1984, 21–44.

<sup>12</sup> Ср.: «Наряду с “Жизнью Иисуса” Эрнеста Ренана “Еврейская Франция” стала главным французским бестселлером второй половины XIX века — сто четырнадцать изданий за один год, всего двести изданий, не считая сокращенного популярного издания и многочисленных “продолжений”...» [Poliakov 1981, 291].

Ш. Моррас (1868–1952), который оставался бесспорным авторитетом для всей группы, хотя политический экстремизм «учеников чародея» мог несколько претить изысканному вкусу певца «латинской расы»<sup>13</sup>. Следует думать, что общественный резонанс издания не был велик, поскольку даже в лучшие месяцы число подписчиков не превышало двух тысяч, однако для каждого из ведущих сотрудников «Повстанца», которые, кстати, не очень ладили между собой, работа в нем представляла не только важный, но и необходимый этап политического взросления и становления. Бланшо вел в журнале две постоянные колонки: «Иностранная политика» и «Литературная хроника».

Апокалипсическая тональность письма Бланшо-публициста того времени прослеживается уже по названиям наиболее радикальных статей: «Обвинение против Франции» (13 января 1937 г.), «Наш первый враг — это Франция» (3 февраля 1937 г.), «Французское бесчестье» (24 февраля 1937 г.), «Франция обречена на неправоту» (12 мая 1937 г.) и т. п. Как уже говорилось, литературный национализм Бланшо был движим двумя разнонаправленными тенденциями: глухое воззвание к некоей былой, потерянной, идеальной и довольно расплывчатой Франции все время сопровождалось громкими призывами к уничтожению Франции сегодняшней, вырождающейся на глазах из-за засилья духа демократии. Не будет большого преувеличения, если сказать, что для Бланшо-журналиста фигура Л. Блюма, главы тогдашнего правительства Народного фронта (1936–1938), лидера и теоретика социалистической партии Франции, выступала в виде идеального «козла отпущения», которому приписывались все грехи, все козни, все происки современных французских политиков, усугублявшиеся тем невыносимым для «младоправого» националиста обстоятельством, что роль спасителя Франции, переживавшей глубочайший политический кризис, исполнялась евреем. Обрушиваясь в одной из статей на политика, Бланшо-публицист не стесняется самых крайних выражений, утверждая, например, что именно Блюм «представляет собой все самое ненавистное для нации, к которой он обращается, — отсталую идеологию, старческую психологию, чужестранную расу» [Blanchot 1937a, 4]. В глазах молодого Бланшо Блюм является символом упадка Франции, более того, пришлым самозванцем, взявшимся спасать страну, которая ему в сущности чужда, словом,

<sup>13</sup> О политической, философской и человеческой судьбе Ш. Морраса, приговоренного после Освобождения к пожизненному заключению, см. статью А. М. Руткевича: Руткевич 2003.

чужестранцем, заключающем в себе угрозу для французской нации; он просто-напросто политический «противник, который не достоин уважения, поскольку даже не является наследником цивилизации, которую должен защищать» [ibid.]. Катастрофичность восприятия современной политической ситуации усугубляется в сознании писателя тем отягчающим обстоятельством, что сам он ощущает себя *внутри* процесса окончательного вырождения французского духа, олицетворением чего ему видится престарелый еврей во главе французского правительства: «Словом, это справедливо, что — вплоть до установления нового порядка — Блюм остается символом и рупором мерзопакостной Франции, частью которой мы сами являемся» [Blanchot 1937b, 4]<sup>14</sup>.

Не останавливаясь здесь на противопоставлении понятия «нации», которое отличается, заметим все же, позитивным характером, и с которым легко соотносится авторская субъективность молодого публициста, и понятия «расы», в котором явно доминирует идея чуждости, подчеркнем, что в таких пассажах сказывался не только полемический азарт, не только политическая страсть, характерные для журналистского письма на злобу дня, но и самые начала глубокой рефлексии в отношении еврейского удела, отдельные элементы которой были представлены выше. Речь идет, иначе говоря, не столько о случайных злоупотреблениях сильным, убийственным словом, продиктованных горячностью новоявленного адепта национальной революции, сколько о выражении более сокровенных, более выношенных представлений о Франции и еврейском уделе.

Подтверждением тому может служить пассаж совершенно иной тональности, иного мыслительного настроения, он находится в одной из самых значительных литературоведческих работ молодого Бланшо — рецензии на роман Т. Манна «Иосиф и его братья», опубликованной в том же «Повстанце» 14 апреля 1937 г.:

Смерть Исаака, являющаяся одним из самых прекрасных эпизодов этого произведения, дает наглядный пример этой символической реальности. Действительно, в тот момент, когда он покидает мир, Исаак начинает пророчествовать. Говорит о себе как о жертве, спасенной небесами и кровью агнца, каковую следует рассматривать как свою собственную,

<sup>14</sup> Более подробно о сотрудничестве Бланшо с еженедельником «Повстанец» см. глубокое и многостороннее исследование Р. Ланно, в котором, в частности, устанавливается определенная взаимозависимость между политическим радикализмом Бланшо-публициста и теоретическим ригоризмом Бланшо-литературоведа [Lanno 2013].

поскольку эта кровь его настоящего сына, пролитая ради искупления всех людей. В этот трагический момент, когда он предвещает жертву Христа, Исаак принимается блять и, ощущая, как превращается в прежнего зверя, уничтоженного вместо него, он действительно вдруг становится похожим на агнца. Превращение это обладает восхитительным смыслом. Это первоисходное бляние, аллюзия на агнца Паскаля, напоминание о доисторическом звере, об идоле племени, звучит сквозь историю как сам символ символа. Он привязан и к тому, что есть самого чистого, и к тому, что есть самого нечистого. Он выражает то, что остается страшного в самой доподлинной святости, и то, что есть святого еще прежде всякой святости. Это — голос начала начал и искупление того, что свершается. Изумительное упразднение времени.

Каков же смысл этого упразднения длительности, о котором г. Томас Манн написал глубочайший роман? Упразднение это представляет, прежде всего, великую трагедию народа, который, погруженный в собственную мифологию, вдруг получает от одного из своих Бога, не имеющего никакой истории. Метафизическое мужество Авраама, принимающего Бога, о котором он ничего не может сказать, хотя в это самое время все другие расчудесно рассказывают о своих богах, неизмеримо. Он предписывает своим последователям не иначе как в содроганиях спускаться в историю, с которой отныне будет соединена предельная абстракция; он толкает их к компромиссу, где это вневременное бытие сподобится держать вместе с ними путь во времени, при том условии, что время не будет для них неисчерпаемой импровизацией событий, но станет вечным переоблаченным настоящим. Действительно, эта беспокойная, извечно возбужденная раса движется в неподвижности. Она беспрестанно изобретает себе историю, которая есть всего лишь подобие истории и которую она беспрестанно сама уничтожает. Самое великое ее упование — это надежда на Бога, который воплотится, на Бога, который наконец-то станет зримым, историчным, способным освободить ее от абстрактной судьбы. Но сама фатальность этой расы, когда после долгих ожиданий обещание какой-то истории сбывается, снова толкает ее к тому, чтобы уничтожить этот последний шанс на длительность, и она снова горделиво отбрасывает себя к своему Богу, раз и навсегда лишенному всяких планов на будущее [Blanchot 1937c, 4].

Вчитываясь в этот вдохновенный фрагмент, где витиеватая поэтичность языка превосходно согласуется с непреложным ходом философского рассуждения, где сущность еврейского народа поверяется понятиями «родства», «крови», «жертвы», «времени», «истории», Бога, и, сравнивая его с приведенными



выше отрывками, написанными той же самой рукой и увидевшими свет в том же самом еженедельнике, где в глаза навязчиво лезут уничижительные эпитеты, вроде «мерзопакостный», «отсталый», «старческий», «чужестранный», «выродившийся», «больной», используемые для характеристики представителя того же самого народа, невозможно отделаться от впечатления, что перед нами разворачиваются две совершенно различные истории, два различных модуса письма, два типа писателя. С одной стороны, предстает самовластная фигура Бланшо-писателя безумного дня, точнее, фигура бесноватого, неистовствующего полемиста, что на скорую руку строчит на потребу дня, извергая из себя полуночные страхи за милую Францию и вымещая бессильную злобу на всех тех, в ком мерещатся призраки «злокозненного гения» еврейства, угрожающего милому французскому миру. С другой стороны, на этих страницах утверждается не менее властная фигура Бланшо-писателя кромешной тьмы, фигура ночного Бланшо, который, как будто очистившись от дневной скверны, ищет тот самый смысл письма-мышления, в котором образ еврея со временем становится своего рода путеводной звездой, одиноко и призывно мерцающей на беззвездном небосклоне, предлагая писателю единственно возможный путь — бесприютное странничество<sup>15</sup>. Загадка, однако, заключается в том, что приведенные отрывки написаны одной рукой, выстраданы одним телом, в котором писатель безумного дня как-то уживался с писателем кромешной ночи: и если в первом, по словам Д. Масколо, говорило больше порождаемое сном разума «обесмысленное письмо»<sup>16</sup> [Nancy 2011, 67], слепо привязанное к таким громким словам, к таким благообразным сверхсущностям, как Франция, цивилизация, французский дух, традиция, католицизм, резко противопоставленным всему чуждому и чужестранному, то его двойник со временем приобретал особую зоркость, особую пронизательность, позволявшую тому, кто пишет, вглядываться в слепящую тьму литературного опыта и прозревать в нем то, что находится под покровом насущного дня писателя.

Итак, обрисовав в самых общих чертах политическую позицию Бланшо в 30-е гг. XX в., мы можем отметить в ней не столько последовательный

<sup>15</sup> На противопоставлении «ночного» и «дневного» письма Бланшо построена книга М. Сюра: Sura 2015.

<sup>16</sup> Отвергая оценку эволюции Бланшо, предложенную Лаку-Лабартом, Масколо, один из самых близких к Бланшо мыслителей писал: «М. Б. начал с того, что просто писал, просто был писателем, писателем-журналистом, к тому же, он был почти исключительно писателем политическим [...] Если и было обращение, то мне думается, что это был переход от письма к мышлению» [Nancy 2011, 67].

литературный антисемитизм, выражающийся в личном, публичном и систематическом отрицании ценности еврейской культуры, в открытом изобличении вреда, который она якобы несет национальной цивилизации, сколько своего рода отголоски некоего антисемитского дискурса, или «расистского подсознания», представляющего собой более сложную речевую формацию, где авторское слово перекликается с голосами других культурных, литературных, философских, теологических высказываний, вторит им, противоречит или развивает уже звучавшие аргументы, доводы, сентенции, представляющие собой своеобразный исторический ресурс антисемитской риторики или своего рода свод прописных истин, засевших в национальном сознании и бессознательном. В инвективах, с которыми Бланшо-публицист обрушивался в 30-е гг. на Блюмполитика, не было ничего характерно нового, ничего, что так или иначе уже не звучало бы из недр литературного национализма Франции, исторически восходящего к широкой эпохе романтизма, когда впервые понятие литературы было связано с понятием нации, когда «национальное» как таковое было резко противопоставлено чужестранному. Вместе с тем, сама эпоха 30-х гг., как об этом свидетельствовал Бадью [Бадью 2008, 8], резко усугубляла кризис французскости, искавшей себя в противопоставлении другому. Но проблема 30-х гг. осложняется еще одним — историографическим — обстоятельством, на котором нам хотелось бы остановиться в завершение этого этюда.

*Победители и побежденные,  
невинные и виновные, жертвы и палачи*

Действительно, оценивая начало литературного становления Бланшо, следует подчеркнуть, что период 30-х гг. представляет собой то, что можно было бы назвать местом беспамятства французской культуры, своего рода зиянием истории, от которого зачастую отшатываются даже самые смелые исследователи, особенно если речь идет не о масштабных исторических полотнах, где обычно скрадываются судьбы частного человека, а о воссоздании образа жизни и мысли тех исторических персоналий, которых обыкновенно именуют замечательными людьми, в первую очередь, писателей, художников, философов. К этой общей характеристике историографической ситуации 30-х гг. можно добавить еще два соображения, касающихся того, что можно назвать «точкой зрения» в исторической науке.

Действительно, когда мы определяем период 30-х гг. временем провала французской исторической памяти, то совсем не хотим сказать, что нет

достоверных исторических трудов, посвященных этой эпохе, политическим или литературным деятелям тех лет. Такие работы написаны, их множество, если не сказать, в избытке. Однако парадокс незнания этого времени определяется тем, что история французской литературы двух междувоенных десятилетий, равно как черных лет Оккупации, пишется, если использовать одно выражение М. Фуко, с точки зрения победителей, для которых точка зрения побежденных заведомо неприемлема, да и неважна:

Да, мне бы очень хотелось написать историю побежденных. Это прекрасная мечта, которую многие разделяют: дать, наконец, слово тем, кто доньше не смог его взять, тем, кто был обречен на молчание историей, жестокостью истории, всеми системами господства и эксплуатации. Но существуют две трудности. Во-первых, побежденные — правда, если они существуют, эти побежденные — это те, у кого, по определению, отняли право голоса! И если им и случалось говорить, то не на своем языке. Им навязали иностранный язык. Они не немые. Нет, они говорят на таком языке, который люди, судя по всему, не понимали и до сих пор не испытывают желания слушать [Foucault 1995, 390].

Разумеется, Фуко говорил о других побежденных и победителях; среди первых он имел в виду всякого рода плебс, отребье современных обществ, принуждаемых всем ходом и концом истории к всемирной демократизации. Однако мысль Фуко может приобрести вид методологического положения в отношении рассматриваемого нами периода из истории французской литературы, который неизменно описывается с точки зрения победителей, при том что побежденные не просто лишены голоса, но обречены на молчание самой организацией исторического знания, равно как политическими институциями современного демократического общества, не способного беспристрастно и трезво помыслить свое прошлое. Другое прошлое, недемократическое. Можно даже сказать, что на молчание побежденных победители отвечают своим молчанием, замалчивая то время, когда они говорили на равных.

Второе соображение сводится к тому, что оппозиция победители / побежденные усложняется в рассмотрении данной эпохи оппозицией невинные / виновные, которая касательно Франции 20–40 гг. имеет даже преимущественное значение, нежели первая, особенно если принять во внимание двусмысленное и достаточно болезненное отношение французов к тому, что по всей Европе именуется победой над нацистской Германией, а во французской политической культуре скорее Освобождением. Проблема здесь даже не столько

в том, какую в точности роль сыграли вооруженные силы Франции в разгроме нацистской Германии, сколько в том, что так называемое Освобождение означало среди прочих смыслов этого понятия освобождение Франции от некоей другой Франции, а именно той, что попустительствовала развязыванию второй мировой войны, бесславно капитулировала после нескольких месяцев «забавной войны» и нескольких недель реальных боевых действий, отдала Париж на милость немецких оккупантов, зарекомендовала себя активным сотрудничеством с оккупационными властями, в том числе в выявлении среди французов лиц неарийского происхождения, исчислявшихся десятками тысяч. Словом, в результате этого Освобождения, местами принимавшего формы настоящей гражданской войны, другая Франция оказалась во всем виноватой, а освободители 1944 г. — невинными, чей престиж был упрочен также более или менее опасными связями с героями Сопротивления и жертвами режима Виши. Эти крайне запутанные отношения между уже тремя оппозициями победители / побежденные — виновные / невинные — жертвы / палачи можно пояснить одним характерным замечанием французского писателя М. Сюриа, сформулированным, правда, совершенно по другому поводу, но проливающим свет на историографическую проблему в описаниях ситуации французской литературы 30–40-х гг.:

Вы не замечали, как охотно — «охотно» означает «часто» — говорят о *жертвах*? О них говорят столь охотно, столь часто, что только о них, собственно, и говорят (все же производя среди них некоторое разграничение, подчас уточняя: «невинные жертвы»), — и почти никогда не говорят о *побежденных*.

Не потому ли, что не бывает невинных побежденных? Или потому, что быть невинными подобает только победителям? Стало быть, самое место заметить, что новая пара «виновный / жертва» почти полностью вытеснила старинную, историческую пару «победитель / побежденный» [Сюриа 2003, 21].

Парадоксальная своеобычность интеллектуальной ситуации Бланшо определяется тем, что своим литературным происхождением он был обязан именно другой Франции — той, что была объявлена побежденной в 1944 г., но временами дает о себе знать и по сей день; той другой Франции, что была обвинена во всех грехах и ересьях, при том что сами победители не грешили излишним человеколюбием в ходе так называемых чисток, воспоследовавших за Освобождением, в том числе, в рядах французских писателей, заигрывавших

с фашизмом [см.: Assouline 1985], но особенно зверских в отношении французских женщин, замеченных в связях с немцами; той другой Франции, что пала жертвой победителей, спешивших предать забвению то общее прошлое 30-х гг., в котором не было еще побежденных и победителей. Но если литературным происхождением Бланшо был обязан именно другой, темной, умолкнувшей Франции 30-х гг., то весь последующий интеллектуальный маршрут писателя целеустремленно выстраивался под знаком «победителей» от истории, за которыми, как правило, всегда остается последнее слово.

В своей новой истории, начинающейся приблизительно с выходом последнего романа «Всевышний» (1948) и первой повести «Смертный приговор» (1948), писатель, как будто предавая забвению собственное историческое прошлое, в действительности на протяжении без малого полувека пытался с ним расквитаться, прибегая для этого к различным стратагемам, затрагивающим как жизнь, так и творчество. С одной стороны, примерно с этого времени он начинает выстраивать свое литературное существование таким образом, чтобы ему сопутствовала легенда творца-затворника, писателя-невидимки, человека без биографии, сведенному к голому голосу своих произведений. С другой стороны, живой голос писателя мог звучать в долгих телефонных разговорах с друзьями и говорить во множестве многостраничных писем, посредством которых Бланшо предпочитал общаться с литературным миром, только время от времени нарушая обет уединения ради редких личных встреч с узким кругом избранных лиц. Словом, приходится думать, что идея «смерти автора»<sup>17</sup> на деле выглядит не такой уж невинной, во всяком случае, приходится признать, что она была действительно выношена, выстрадана писателем и посему требует более пристального внимания к тому, что в этой самой «смерти» было продиктовано самой жизнью.

Но задача истории литературы не в том, чтобы кого-то винить, как некогда, в 30-е гг., сам Бланшо винил во всех бедах Франции премьер-министра Блюма или впоследствии, на рубеже 50–60-х гг., генерала де Голля, называя нового спасителя отечества диктатором, а в том, чтобы препятствовать забвению, извлекая из провалов исторической памяти обстоятельства и подробности потерянного времени, от которых вольно или невольно отрекаться люди. Судя по всему, Бланшо-писатель воспринимал эту задачу даже намного острее, чем

<sup>17</sup> Положение о «смерти автора» является некоторым образом визитной карточкой Бланшо-теоретика литературы и действительно восходит к его литературоведческим трудам 40–50 гг., откуда оно затем перешло в конфликте интерпретаций в теоретические построения Барта, Деррида, Фуко.

ему самому хотелось думать, своеобразным свидетельством чему явились многократные и крайне противоречивые опыты писателя исторгнуть из себя, извлечь на свет это темное историческое мгновение, к которому восходило его пресловутое обращение, и которое сам он в итоговой прижизненной книге многозначительно назвал «Мгновением моей смерти», в последний раз попытавшись рассказать о том, как во время войны то ли 11 то ли 20 июля 1944 г. ему случилось пережить самого себя, чудом избежав смертной казни, на которую как будто бы обреч его немецкий офицер-каратель, и от которой его якобы спасли русские солдаты-власовцы, дважды предатели в предании Бланшо.

Предание или предательство? Быль или небыль? Истина или вымысел? Призраки прошлого или прозрения грядущего? Последнего слова до сего времени не сказано<sup>18</sup>.

С. Л. Фокин

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Assouline 1985 — *Assouline P. L'Épuration des intellectuels. 1944–1945*. Bruxelles: Editions Complexes, 1985.
- Bident 1998 — *Bident C. Maurice Blanchot. Partenaire invisible. Essai biographique*. Seyssel: Champ Vallon, 1998.
- Blanchot 1937a — *Blanchot M. Blum, notre chance de salut // L'Insurgé*. № 3. 27 janvier 1937. P. 4.
- Blanchot 1937b — *Blanchot M. Réquisitoire contre la France // L'Insurgé*. № 1. 13 janvier 1937. P. 4.
- Blanchot 1937c — *Blanchot M. «Joseph et ses frères» par Ttomas Mann // L'Insurgé*. № 14. 14 avril 1937. P. 4.
- Blanchot 1969 — *Blanchot M. Être juif // Blanchot M. L'Entretien infini*. Paris: Gallimard, 1969. P. 180–191.
- Blanchot 2003 — *Blanchot M. Écrits politiques. Guerre d'Algérie, Mai 1968, etc. 1958–1993 / Éd. de M. Surya*. Paris: Lignes & Manifestes — Léo Scheer, 2003.
- Blanchot 2008 — *Blanchot M. Écrits politiques 1953–1993 / Textes choisis, établis et annotés par E. Hoppenot*. Paris: Gallimard, 2008 (Cahiers de la NRF).
- Blanchot 2010 — *Blanchot M. [Le seul fait que Benoist...]* // *Blanchot M. La condition critique. Articles 1945–1998 / Textes choisis et établis par C. Bident*. Paris: Gallimard, 2010 (Cahiers de la NRF). P. 478–479.

<sup>18</sup> Предварительное истолкование этой псевдоавтобиографической притчи представлено в одной из глав нашей книги о Достоевском во французской литературе [Фокин 2013, 268–276].

- Blanchot: écriture et philosophie 2015 — *Blanchot: écriture et philosophie* // Revue de métaphisique et de morale. 2015. № 2 (86).
- Cohen-Levinas 2009 — *Cohen-Levinas D.* Entre eux. Maurice Blanchot et Emmanuel Levinas: Là où ils sont, se rendre à l'impossible // Blanchot dans son siècle. Lyon: Parangon, 2009. P. 69–84.
- Foucault 1995 — *Foucault M.* La torture, c'est la raison // Foucault M. Dits et Ecrits 1954–1988. T. III. 1976–1979. Paris: Gallimard, 1995. P. 390–398.
- Gary 2009 — *Gary D. M.* «Quoi qu'il arrive je suis avec Israël». Maurice Blanchot et la sauvegarde des Juifs // Les Intellectuels français et Israël / Sous la direction de D. Charbit. Paris: Editions de l'éclat, 2009 (Bibliothèque des fondations). P. 111–119.
- Hoppenot 2015 — *Hoppenot É.* Maurice Blanchot et la tradition juive / Avant-propos É. Marty. Paris: Kimé, 2015 (coll. «Archives de Maurice Blanchot»).
- Lacoue-Labarthe 2011 — *Lacoue-Labarthe Ph.* Agonie terminée, agonie interminable. Sur Maurice Blanchot, suivi de L'émoi / Édition établie par A. Bianchi et L. Kharlamov. Paris: Galilée, 2011.
- Lanno 2013 — *Lanno R.* Maurice Blanchot à *L'Insurgé* // Fabula / Les colloques. Les écrivains théoriciens de la littérature (1920–1945) [Электронный ресурс]. Article publié le 22 avril 2013. URL: <http://www.fabula.org/colloques/document1821.php>
- Les Politiques de Maurice Blanchot 2014 — Les Politiques de Maurice Blanchot. 1930–1993 / Michel Surya, Collectif // Lignes. № 43. Mars 2014.
- Levinas 2015 — *Levinas E.* Être juif. Suivi d'une lettre à Maurice Blanchot. Paris: Rivages, 2015.
- Loubet del Bayle 1969 — *Loubet del Bayle J.-L.* Les non-conformistes des années 30. Une tentative de renouvellement de la pensée politique française. Paris: Seuil, 1969.
- Mehlman 1982 — *Mehlman J.* Blanchot à «*Combat*» // Tel Quel. 1982. № 92. P. 48–65.
- Mehlman 1984 — *Mehlman J.* Legs de l'antisémitisme en France. Paris: Denoël, 1984.
- Mesnard 1996 — *Mesnard Ph.* Maurice Blanchot. Le sujet de l'engagement. Paris: L'Harmattan, 1996.
- Monvailler, Rousseau 2015 — *Monvailler H. de., Rousseau N.* Blanchot l'obscur ou La Déraison littéraire / Préface de M. Onfray. Paris: Autrement, 2015 (coll. Université populaires & Cie).
- Nancy 2011 — *Nancy J.-L.* Maurice Blanchot. Passion politique. Paris: Galilé, 2011.
- Nancy 2014 — *Nancy J.-L.* La communauté désavouée. Paris: Galilé, 2014.
- Poliakov 1981 — *Poliakov L.* Histoire de l'antisémitisme. T. I. Du Christ aux Juifs de Cour. 2 vol. T. 2. L'âge de la science / Édition abrégée, revue, corrigée, complétée et mise à jour. Paris: Hachette, 1981 (Первое изд.: Paris: Calmann-Lévy, 1955).
- Surya 2015 — *Surya M.* L'Autre Blanchot. L'Écriture de jour, l'écriture de nuit. Paris: Gallimard, 2015 (coll. «Tel»).
- Trawny 2014 — *Trawny P.* Heidegger et l'antisémitisme: Sur les Cahiers noirs / Trad. de l'allemand par J. Christ et J.-C. Monod. Paris: Seuil, 2014.

- Бадью 2008 — *Бадью А.* Обстоятельства, 3. Направленности слова «еврей» // Бадью А. Обстоятельства, 3. Направленности слова «еврей». Винтер С. Господствующее означающее новых арийцев / Пер. с франц. М. Ю. Бендет под ред. С. Л. Фокина. СПб., 2008. С. 5–104.
- Бидан 2000 — *Бидан К.* Бланшо, невидимый собеседник / Пер. с франц. С. Дубина // Логос. 2000. № 4. С. 134–159.
- Бланшо 1998 — *Бланшо М.* Неопишемое сообщество / Пер. с франц. Ю. Стефанова. М., 1998.
- Бланшо 1998 — *Бланшо М.* От Кафки к Кафке / Пер. с франц. и посл. Д. Кротовой. М., 1998 (*Esse homo*).
- Бланшо 2002a — *Бланшо М.* Пространство литературы / Пер. с франц. В. П. Большакова и др. М., 2002 (*Esse homo*).
- Бланшо 2002б — *Бланшо М.* Как возможна литература? // Полан Ж. Тарбские цветы, или Террор в изящной словесности / Пер. с франц. А. Шестакова, предисл. С. Л. Фокина. СПб., 2002 (Французская библиотека). С. 172–184.
- Бланшо 2003 — *Бланшо М.* Рассказ? Полное собрание малой прозы / Сост., пер. с франц., посл. В. Е. Лапицкого; под ред. Б. В. Останина, С. Л. Фокина. СПб., 2003.
- Лаку-Лабарт, Нанси 2002 — *Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л.* Нацистский миф / Пер. с франц. С. Л. Фокина. СПб., 2002.
- Левинас 2009 — *Левинас Э.* О Морисе Бланшо / Сост. и пер. с франц. В. Е. Лапицкого. СПб., 2009 (XX век. Критическая библиотека).
- Руткевич 2003 — *Руткевич А. М.* Политическая доктрина Шарля Морраса // Моррас Ш. Будущее интеллигенции / Пер. с франц. и послесл. А. М. Руткевича. М., 2003 (серия: «Идеологии»). С. 79–157.
- Полан 2002 — *Полан Ж.* Тарбские цветы, или Террор в изящной словесности / Пер. с франц. А. Шестакова, предис. С. Л. Фокина. СПб., 2002 (Французская библиотека).
- Сюриа 2003 — *Сюриа М.* Представление // Мир в войне. Победители/побежденные. 11 сентября 2001 года глазами французских интеллектуалов. Специальный номер журнала «Линии» / Пер. с франц. В. Е. Лапицкого, С. Л. Фокина. М., 2003. С. 21–22.
- Фокин 2002 — *Фокин С. Л.* Эпигоны, или Сцена политики // Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф / Пер. с франц. С. Л. Фокина. СПб., 2002. С. 69–78.
- Фокин 2013 — *Фокин С. Л.* Фигуры Достоевского во французской литературе XX века. СПб., 2013.